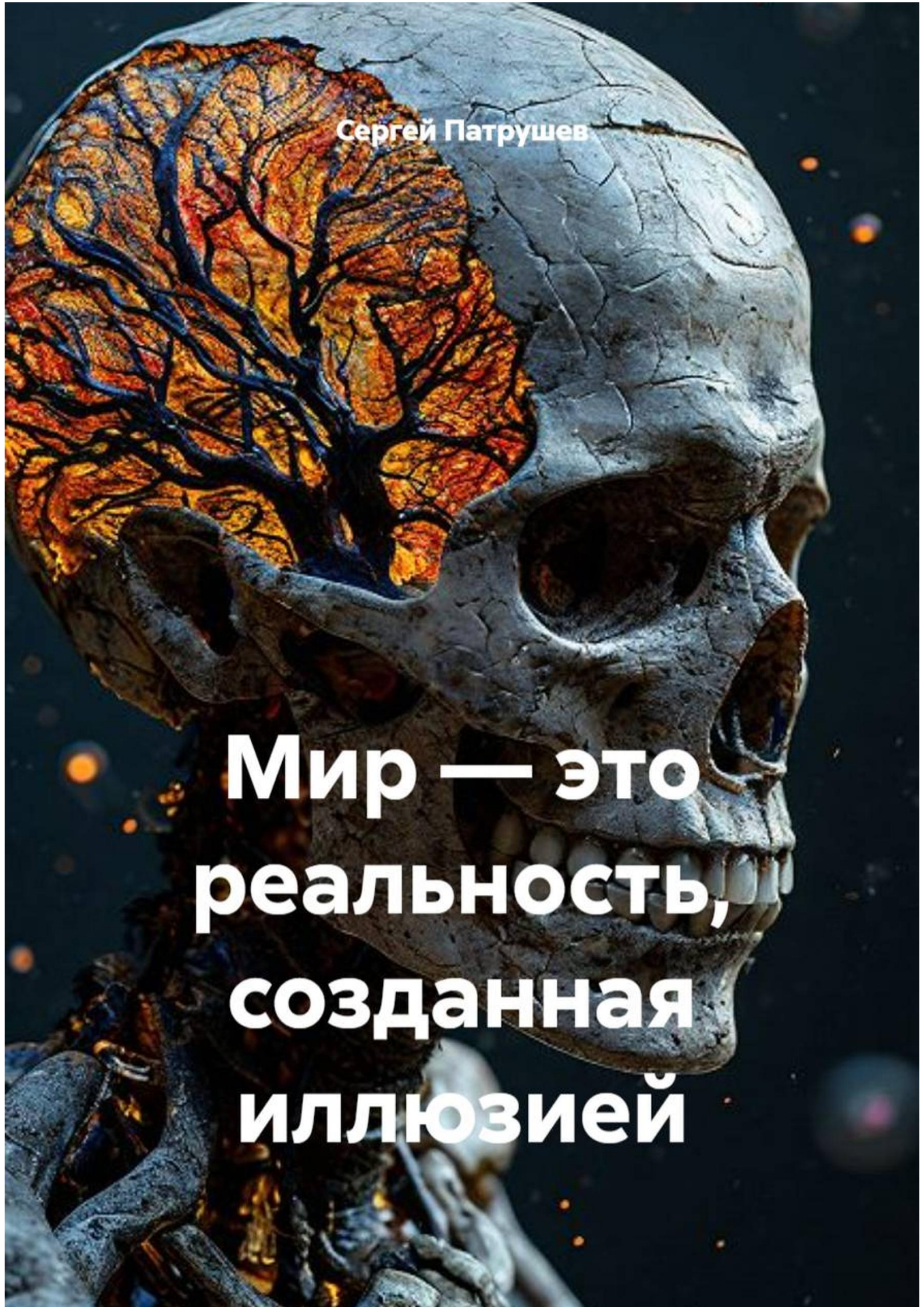




Сергей Патрушев

**Мир — это
реальность,
созданная
иллюзией**

Сергей Патрушев

**Мир — это реальность,
созданная иллюзией**

«Автор»

2026

Патрушев С.

Мир — это реальность, созданная иллюзией / С. Патрушев —
«Автор», 2026

Мир, который мы видим, слышим и осязаем, — лишь иллюзия, созданная мозгом, запертым в костной коробке черепа. Доктор Андрей Серов, нейробиолог и создатель цифрового Архипелага, решается на эксперимент, который должен доказать эту гипотезу, — провести более ста часов в полимодальной симуляции, чтобы найти трещину в коде реальности. Но когда он действительно находит её, когда мир вокруг начинает моргать, обнажая серую пустоту и символы, проступающие сквозь ткань бытия, поиск истины превращается в путешествие, из которого нет возврата. Вместе с главой отдела нейроинтерфейсов Викторией Мор и медбратом Кириллом, который видел изнанку реальности ещё в детстве, доктор Серов проходит через разрывы пространства, диалог с Разработчиком, встречу с абсолютным разрушением и, наконец, через осознание того, что иллюзия, принятая до конца, до последней капли крови, становится единственно подлинной реальностью.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Сергей Патрушев

Мир — это реальность, созданная иллюзией

Глава 1. Аватар в черепной коробке

Тишина, застывшая в пустом конференц-зале, представляла собой субстанцию сложносоставную и глубоко обманчивую, ибо под мертвенно-бледным свечением флуоресцентных ламп, заливавших помещение холодным, почти хирургическим светом, непрерывно гудел скрытый в недрах подвесного потолка трансформатор, чей низкочастотный, проникающий сквозь барабанные перепонки рокот резонировал где-то глубоко в костной ткани, создавая ощущение тревожного, почти инфразвукового давления, того самого давления, что предшествует надвигающейся грозе или необратимому тектоническому сдвигу. Доктор Андрей Серов, застывший в полной неподвижности перед собственным отражением, которое глядело на доктора из чёрного зеркала выключенного монитора с той безмолвной пристальностью, какая свойственна лишь портретам в заброшенных галереях, видел там усталого человека сорока трёх лет с преждевременной сединой, серебрившейся на висках подобно инею на осенней траве, и тёмными кругами под глазами, въевшимися в кожу столь глубоко, словно сама ткань лица запомнила форму многолетней усталости и закрепила её на клеточном уровне, превратив в постоянную, почти ритуальную маску скорби и познания. Доктор ждал, когда техники завершат финальную калибровку нимба, и это ожидание, полное внутреннего напряжения и той особой, звенящей тишины, что возникает лишь на границе между решимостью и отчаянием, напоминало бесконечно долгое мгновение перед прыжком в ледяную воду, когда рассудок, цепляясь всеми своими когитистыми лапами за инстинкт самосохранения, ещё пытается отговорить тело от добровольного погружения в бездну, заранее зная, что проиграет этот спор.

Сегодня доктору Серову предстояло стать первым человеком, который проведёт в полноценной полимодальной симуляции более ста часов подряд, однако рекорд ради рекорда, этот примитивный спортивный азарт, достойный скорее марафонцев или пожирателей хот-догов на ярмарке тщеславия, не занимал исследователя совершенно, ибо Андрей Серов искал трещину, тот самый микроскопический, почти неуловимый изъян в цифровом творении, который сможет доказать теорию, или, что было бы куда страшнее, опровергнет её, оставив искателя один на один с бездной собственного разума, лишённого последней надежды на объективную истину и какую-либо точку опоры в мире, который вдруг окажется лишь сном, привидевшимся неведомому космическому сновидцу. Дверь мягко отворилась, впуская в стерильную атмосферу лаборатории лёгкий, едва уловимый шлейф дорогих духов, и Виктория Мор, бессменный глава отдела нейроинтерфейсов корпорации «Веритас», вошла совершенно бесшумно, двигаясь с той отточенной, почти нечеловеческой грацией, которая свойственна хирургам, привыкшим к абсолютной стерильности операционных, или же крупным хищникам, вышедшим на ночную охоту в саванну корпоративных интриг. Строгий брючный костюм цвета мокрого асфальта сидел на фигуре безупречно, подчёркивая деловую отстранённость и холодную, просчитанную элегантность, светлые волосы были собраны в тугий узел, а на лице застыло выражение профессиональной озабоченности, которое Андрей Серов давно научился распознавать как маску, скрывающую глубокое безразличие, разбавленное каплей корпоративного прагматизма и щепоткой плохо скрываемого страха перед тем, что может обнаружиться в ходе эксперимента.

— Ты можешь отказаться, — произнесла Виктория Мор, хотя оба знали, что эта фраза является пустой формальностью, ритуальным заклинанием, которое юристы компании вписали в протокол, дабы снять с корпорации ответственность в случае необратимых последствий, ибо отказ на этом этапе означал бы крах не только многолетних исследований самого Серова, но и многомиллиардных инвестиций в проект «Сомниум», уже анонсированный акционерам как прорыв десятилетия, технологический Святой Грааль, сулящий золотые реки и власть над самой тканью человеческого восприятия. — Протокол безопасности пересмотрен, мы усилили мониторинг соматических маркеров, и теперь, если частота сердечных сокращений превысит пороговые значения, система произведёт принудительный выход.

— Система, — повторил доктор с лёгкой усмешкой, которая тронула уголки губ, но так и не добралась до глаз, оставшихся такими же тёмными, настороженными и бесконечно уставшими, как воды северных озёр в предзимних сумерках. — Забавно, как мы склонны одушевлять бездушный набор программного кода и сенсоров, делегируя им ответственность за собственную жизнь и доверяя своё сознание алгоритму, который сами когда-то написали, сидя в душном офисе с чашкой остывшего кофе, в перерыве между скроллингом новостной ленты и просмотром смешных видео с кошками. Ты сама-то веришь в безопасность протокола, Вика?

Глава отдела нейроинтерфейсов не ответила сразу, но подошла ближе к столу и взяла в руки прозрачный планшет, на котором светились графики последних нейросканирований, переливающиеся всеми цветами спектра, словно карта погоды надвигающегося урагана, хотя наверняка знала эти данные наизусть, до последнего пикселя, до последнего всплеска гамма-ритма, до последнего едва заметного отклонения от нормы, которое так беспокоило аналитиков.

— Я верю в цифры, Андрей, — наконец произнесла Виктория, поднимая на собеседника взгляд, в котором промелькнуло нечто, плохо сочетающееся с обычной ледяной сдержанностью, нечто похожее на тень сомнения, промелькнувшую в хорошо охраняемой крепости рационального ума. — А цифры говорят, что твой мозг в глубоких стадиях погружения генерирует уникальные паттерны активности, паттерны, которых мы не видим больше ни у кого из испытуемых, и если ты прав в своей гипотезе, предполагающей, что реальность является симуляцией низкого разрешения, то эти паттерны суть следствие бага, словно твоё сознание пытается перекомпилировать окружающий код, взломать саму ткань бытия. Это опасно.

— Опасно для кого? — спросил Андрей Серов, наконец поворачиваясь к ней всем корпусом и встречая её взгляд с той спокойной, почти отстранённой уверенностью, которая всегда раздражала совет директоров и вызывала глухое недовольство акционеров, предпочитавших, чтобы их сотрудники проявляли больше энтузиазма и меньше философской рефлексии. — Для меня как для подопытного объекта или для стройной модели прибыльного бизнеса, которую вы выстроили вокруг продажи иллюзий богатым бездельникам, уставшим от яхт, кокаина и острых ощущений старого, доброго, аналогового мира?

Виктория Мор отложила планшет в сторону с тем осторожным, выверенным движением, которое выдавало в этом человеке личность, привыкшую контролировать каждый жест, каждую микроэмоцию, каждую дрогнувшую ресницу, и взгляд сделался жёстче, хотя доктор Серов заметил в нём и кое-что ещё, некую тень страха, плохо скрытого корпоративной выучкой и годами тренировок перед зеркалом, тем самым зеркалом, что беспристрастно фиксирует все трещины в фасаде.

— Иди в капсулу, Серов, — отчеканила глава отдела. — Твоя смена через десять минут.

Подготовительная комната, куда доктор вошёл вслед за молчаливым медбратом, тонула в искусственном полумраке, создававшем атмосферу почти сакральной тишины, нарушаемой лишь приглушённым гудением систем охлаждения, и капсула погружения модели «Сомнус-7», возвышавшаяся в центре помещения на специальном постаменте, напоминала футуристический саркофаг, собранный из матового стекла и медицинской стали с той пугающей эстетикой, которая стирает грань между высокотехнологичным инструментом и ритуальным артефактом, между операционной и усыпальницей фараона. Внутри капсулы находилась целая система жизнеобеспечения: гелевые подушки, способные принимать точную форму человеческого тела, обнимая его, словно колыбель, инъекторы для автоматического введения питательных смесей, терморегуляторы, поддерживающие постоянную температуру с точностью до десятой доли градуса, и, самое главное, нимб — ажурная конструкция из оптоволокон и магнитных эмиттеров, которая мягко опускалась на голову погружаемого, считывая нейронную активность и отправляя встречные сигналы прямо в таламус, этот древний распределительный узел мозга, служивший вратами восприятия с тех самых пор, как первые рыбы выползли на сушу. Андрей Серов разделся до тонкого комбинезона из биосовместимого материала, усеянного десятками микроскопических датчиков, и Кирилл, медбрат с лицом человека, повидавшего слишком много странных вещей, чтобы удивляться чему-либо ещё, помог закрепить нимб, пока холод металла касался висков с той окончательностью, которая заставляет сердце биться чаще, а мысли становиться острее и яснее, словно осколки льда. По телу пробежала дрожь, в которой смешались страх и предвкушение, тот коктейль, что сопровождает любое подлинное приключение человеческого духа, и, несмотря на весь скепсис, несмотря на доскональное знание механизмов, лежащих в основе процесса, доктор не мог отделаться от почти религиозного трепета перед моментом перехода, моментом, когда одна реальность растворяется, уступая место другой, возможно, более совершенной, а возможно, ещё более иллюзорной, ещё более зыбкой, чем та, которую мы привыкли считать единственной и неизменной.

Стеклянный колпак с тихим, почти змеиным шипением опустился, отрезая звуки внешнего мира, и теперь остались только собственное дыхание, ставшее вдруг громким и значительным, словно дыхание спящего великана, и глухие, размеренные удары сердца, отсчитывающие последние мгновения бодрствования с монотонностью древнего метронома. В динамиках зазвучал успокаивающий голос ассистента искусственного интеллекта, предлагающий стандартную процедуру релаксации, но Андрей Серов проигнорировал этот голос, сосредоточившись на ощущении гравитации, на этой привычной, почти незамечаемой в обычной жизни тяжести собственного тела, давящего на гелевую подушку, которая была последним якорем, последней ниточкой, связывающей с миром лаборатории, с миром, который предстояло покинуть ради погружения в неизвестность, куда более глубокого и опасного, чем любое океаническое дно. Исследователь знал, что через несколько мгновений даже это чувство исчезнет, растворится, словно его никогда и не было, оставив лишь чистое сознание, парящее в пустоте.

Обратный отсчёт превратился в далёкое, затухающее эхо, замирающее где-то на границе слышимости, и веки налились свинцом, а темнота, сначала бархатная и тёплая, успокаивающая своей пустотой, начала пульсировать, порождая фосфены — хаотичные, причудливые вспышки света, которые мозг, лишённый привычных сенсорных стимулов, создавал сам для себя из совершенного ничто, словно доказывая самому себе, что ещё жив и способен творить миры даже в отсутствие внешних раздражителей. Затем пришла волна тепла, прокатившаяся от макушки до кончиков пальцев ног, и доктор Серов, всё ещё цепляющийся остатками угасающего сознания за физику этого процесса, помнил, что направленная магнитная стимуляция

определённых зон коры подавляет активность первичной зрительной коры, отключая зрение, и одновременно активирует гиппокамп, вызывая поток ярких, почти осязаемых образов, но знать это как учёному, изучавшему механизмы восприятия десятилетиями, и переживать как живому, чувствующему существу, погружающемуся в пучину собственного разума, были две совершенно разные, ничем не связанные друг с другом категории опыта.

Мир вспыхнул, разорвав темноту ослепительной вспышкой, подобной рождению сверхновой.

Вершина утеса, на которой в следующее мгновение обнаружил себя исследователь, была овеяна солёным ветром, приносящим с собой целую симфонию запахов: йод, гниющие водоросли, влажный камень, нагретый невидимым солнцем, и что-то ещё, древнее и непостижимое, что-то, отдалённо напоминающее запах самой жизни, зародившейся в первобытном океане миллиарды лет назад, когда планета была ещё юной и пустынной. Внизу, насколько хватало глаз, простирался океан, но это было совершенно иное море, чем серо-стальные, тяжёлые воды Балтики, закованные в свинцовую рябь под низким, давящим небом далёкого детства, — вода здесь имела цвет жидкого индиго, настолько насыщенный и глубокий, что казалась почти чёрной у линии горизонта, а волны разбивались о скалы с металлическим звоном, порождая мириады брызг, вспыхивающих в воздухе подобно осколкам драгоценного стекла, выброшенным на берег прихотью безумного ювелира. Небо над головой, затянутое странной, перламутровой дымкой, сквозь которую проступали созвездия незнакомых очертаний, украшали три луны разного размера: одна, огромная и медная, тяжело висела низко над горизонтом, словно древний щит, оставленный богами на поле брани; другая, маленькая и стремительная, уже клонилась к закату, торопясь уступить место дню; а третья, ледяная и голубая, стояла в самом зените, окружённая кольцом преломлённого света, и от этого зрелища захватывало дух даже у того, кто сам спроектировал эту иллюзию, сам прописал каждую строку кода, породившего эту красоту.

Это был мир доктора Серова, персональная симуляция, выстроенная по архитектуре, которую исследователь проектировал годами, оттачивая каждую деталь с одержимостью безумного художника, и мир этот носил имя Архипелаг, хотя название было слишком простым для того бескрайнего, не поддающегося картографированию пространства, что раскинулось перед глазами создателя. Тысячи островов, разбросанных по бескрайнему океану, каждый со своей уникальной экосистемой, гравитацией и даже собственным течением времени, представляли собой, согласно официальной задумке, безопасную песочницу для отдыха сверхбогатых клиентов «Веритас», которые готовы были платить целые состояния за возможность побыть богом в мире, казавшемся более реальным, чем сама реальность, но для Андрея Серова Архипелаг всегда был лабораторией, полигоном для проверки гипотезы, способной перевернуть само представление человечества о мироздании и низвергнуть человеческую расу с пьедестала венца творения в пучину сомнений, из которой нет возврата.

Исследователь медленно поднял руку, поднеся её к глазам, и увидел кожу, поры, тонкие, почти прозрачные волоски, и всё это было воспроизведено с пугающей достоверностью, с тем вниманием к деталям, которое граничит с безумием, а когда ладонь сжалась в кулак, мышцы напряглись, и кровь прилила к пальцам, создавая полную тактильную обратную связь, ибо мозг получал от нимба сигналы, идентичные тем, что обычно шли от реальных нервных окончаний, и этот обман был столь виртуозен, столь безупречен в своей наглой, гениальной лжи, что тело, лежащее в капсуле за многие мили отсюда, начинало искренне верить в эту выдумку, реагируя на неё выбросом адреналина и учащением пульса. Даже лёгкое, пьянящее головокружение от высоты, от осознания того, что под ногами лишь несколько сантиметров камня, а дальше

— бездна, было здесь, с доктором, как верный пёс, следовавший за хозяином в цифровое изгнание. Создатель Архипелага повернулся и пошёл по тропе, извивающейся среди гигантских папоротников, чьи листья отливали металлической синевой и издавали тихий, мелодичный звон, когда ветер касался их поверхности, и каждый шаг отдавался в подошвы ботинок, каждый вдох наполнял легкие воздухом, пахнувшим озоном и неведомыми цветами, и это была идеальная иллюзия, в которой, собственно, и заключалась главная проблема, терзавшая раскуску создателя долгими бессонными ночами, ибо если иллюзия идеальна, если она не содержит ни единого изъяна, то какой критерий позволит отличить её от оригинала, если сам оригинал, возможно, является такой же иллюзией, только более высокого порядка, более древней и искусной подделкой, созданной неведомым демиургом.

Память услужливо подбросила картину из прошлого — старую лекцию для аспирантов, когда доктор Серов стоял у доски с куском мела в руке и чувствовал, как истина, простая и одновременно чудовищная, пульсирует где-то в затылке, требуя выхода наружу, в мир, который, возможно, вовсе не был готов её услышать. Тогда на доске появился круг, нарисованный мелом, и голос лектора произнёс: «Представьте, что это мозг, запёртый в костной коробке черепа, лишённый окон и дверей, и всё, что он получает извне, это электрические импульсы от нервных окончаний, распределённых по телу, словно датчики по корпусу космического корабля, — свет, падающий на сетчатку, преобразуется в электрохимические сигналы, звуковые колебания барабанной перепонки превращаются в те же сигналы, и запах, вкус, боль, наслаждение, всё это лишь паттерны возбуждения нейронов, ничего больше, только код, только информация, переданная по мокрым проводам биологической проводки. Мозг, словно безумный художник в запёртой комнате, никогда не видевший внешнего мира, рисует картину реальности, основываясь на этих скудных, обрывочных данных, и если перехватить кабели, если подать на эти входы правильные, точно рассчитанные сигналы, он нарисует вам райский сад посреди безводной пустыни, он нарисует вам дракона, свернувшегося кольцами в чашке кофе, и он поверит в это, потому что не умеет не верить, потому что это его единственная работа, его фундаментальная функция, отточенная миллионами лет эволюции». С тех пор технология ушла далеко вперёд, оставив ту лекцию и тот рисунок мелом далеко позади, в эпохе невинности, и теперь учёные не просто перехватывали сигналы, но научились генерировать их с той степенью точности, которая делала «Сомниум» вершиной искусства обмана, абсолютным триумфом иллюзии над материей. Однако доктор Серов, стоя посреди созданного собственными руками мира и вдыхая его искусственный, но такой настоящий воздух, задавал себе вопрос, мучивший бессонными ночами гораздо сильнее, чем любые технические проблемы: а кто сказал, что базовый мир, мир за пределами капсулы, мир, в котором доктор пил утром кофе и смотрел на серое небо за окном, является реальным, а не таким же обманом, только более грубой, более «дешёвой» симуляцией, работающей на менее совершенном, медленном оборудовании, где глюки и лаги заметны лишь тем, кто умеет их искать, но большинство предпочитает их игнорировать, потому что так спокойнее, потому что так проще жить, не задавая лишних вопросов. Ведь «Сомниум» доказывал главное, самое страшное в своей очевидности: сознание, это интимное, драгоценное ощущение «я», чувство присутствия в мире можно воспроизвести искусственно, а значит, оно не уникально, а значит, оно может быть симулировано, и кто тогда поручится, что оно уже не симулировано прямо сейчас, в этот самый момент, когда глаза читают эти строки.

Создатель Архипелага подошёл к дереву, ствол которого напоминал переплетение застывших в вечной схватке змеиных тел, и провёл ладонью по его коре, ощущая её шершавую, тёплую, живую на ощупь поверхность, и знал, где-то на задворках сознания, что это просто информация, просто биты и байты, преобразованные в тактильные ощущения хитро-

умным алгоритмом, но мозг, древний, унаследованный от приматов мозг категорически отказывался в это верить, ибо эволюция миллионы лет готовила млекопитающих к выживанию в саванне, а вовсе не к пониманию виртуальности, и для древнего ящера, всё ещё живущего в тёмных глубинах черепной коробки, всё, что можно потрогать, понюхать и укусить, было реальным, абсолютно, непреложно реальным, без каких-либо вариантов и альтернативных толкований. Андрей Серов закрыл глаза — жест, совершенно бессмысленный в симуляции, так как глаза аватара были такими же виртуальными, как и всё окружающее пространство, — и сосредоточился, направив всю мощь тренированного десятилетиями научной работы интеллекта на поиск трещины, на поиск артефакта, того самого предательского изъяна, который выдаёт искусственную природу мира. Доктор прекрасно знал уязвимые места любого программного обеспечения: проблемы с загрузкой текстур на периферии зрения, дрожание вершин полигонов при быстром движении, задержки физического движка, когда камень, брошенный в воду, идёт ко дну на долю секунды медленнее, чем предписывают законы физики, но архитекторы «Веритас» поработали на славу, и мир был монолитен, целостен, непротиворечив в своей иллюзорной, но оттого не менее убедительной реальности.

Однако целостность эта напоминала фасад голливудского городка времён Дикого Запада: если стоять прямо перед ним и смотреть не отрываясь, иллюзия будет безупречной, но стоит попытаться заглянуть за угол, за картонную декорацию, и взгляду откроется пустота, строительные леса, грязь и мусор, скрытые от глаз доверчивых зрителей. Исследователь решил заглянуть за этот угол, чего бы это ни стоило, и, сев на землю, скрестив ноги в позе, которая могла бы показаться медитативной, если бы не лихорадочный, почти безумный блеск в глазах, принялся смотреть на океан, не просто смотреть, но анализировать, препарировать, раскладывать на составные части, словно патологоанатом, вскрывающий труп в поисках причины смерти. Точка на горизонте была выбрана в качестве референса, и начался счёт волн: первая, вторая, десятая, двадцатая, и волны вели себя естественно, хаотично, подчиняясь сложнейшему алгоритму, имитирующему фрактальную природу реальной жидкости с её непредсказуемостью и бесконечной изменчивостью, но на сотой волне показалось, что замечена петля, короткий, на ничтожную долю секунды, сбой в паттерне, когда девяносто девятая волна была абсолютно, до последней капли, до последней бликующей точки на гребне идентична двадцать третьей, и это могло быть совпадением, игрой утомлённого воображения, но сердце — где-то там, в реальном мире, в капсуле — пропустило удар, выдавая тот самый соматический маркер, о котором предупреждала Виктория Мор. Эксперимент продолжился, движимый азартом, который знаком лишь учёным, стоящим на пороге великого открытия, и время в симуляции текло иначе, подчиняясь своим собственным законам, так что сто часов в реальном мире вполне могли обернуться неделями здесь, в Архипелаге, где каждая секунда была наполнена ощущениями до краёв. Глава отдела нейроинтерфейсов надеялась, что доктор будет отдыхать, плавать в лазурных лагунах, наслаждаться красотами, созданными лучшими художниками корпорации, но вместо этого Андрей Серов устроил себе изощрённую пытку монотонной слежкой за горизонтом, фиксируя каждую деталь, каждый повтор, каждое микрозависание физического движка. Через несколько субъективных дней, проведённых в этом добровольном заточении, накопилась целая коллекция странностей, маленьких и больших: лист папоротника, качнувшийся от порыва ветра дважды с интервалом в сорок минут абсолютно одинаково, вплоть до мельчайших колебаний; птица, чья траектория полёта представляла собой идеальный, выверенный до пикселя эллипс, лишённый той живой неправильности, что свойственна полёту настоящих пернатых; звезда в ночном небе, которая, если смотреть на неё не отрываясь в течение часа, начинала мерцать с частотой, удивительно напоминающей тактовый генератор старого процессора, словно где-то в основе этого прекрасного мира тикал метроном, отсчитывающий циклы вычислений с бездушной точностью кварцевого кристалла.

Это были микроскопические трещины на безупречной поверхности, баги, крохотные ошибки в коде, и они сами по себе были важны, но куда более важным и пугающим стало осознание того, что собственное сознание вело себя странно, адаптируясь к среде столь глубоко, что начинало видеть мир не как непрерывную, плавно текущую реальность, а как поток дискретных данных, как гигантскую таблицу, где каждая ячейка хранила значение солёности, температуры, вектора движения. В моменты глубокой концентрации исследователь мог различить структуру, лежащую в основе, словно матричный код, проступающий сквозь ткань бытия, и океан переставал быть океаном, становясь бесконечной математической абстракцией, а шишковидная железа, этот загадочный рудимент, молчала, но какая-то древняя, звериная часть мозга, ответственная за считывание паттернов, активировалась с невероятной силой, превращая человека в декодер, в прибор для чтения скрытых смыслов, в чувствилище, способное улавливать вибрации самой ткани мироздания.

И тогда, сидя на берегу океана под светом трёх лун, Андрей Серов задал себе самый страшный вопрос из всех возможных, вопрос, от которого зависело всё будущее и, возможно, будущее всего человечества: если здесь, в высокотехнологичной симуляции, получилось научиться видеть глюки, те самые трещины, что выдают искусственность, то удастся ли, вернувшись в мир лаборатории и выйдя из капсулы на ватных, ослабевших ногах, увидеть глюки там, в так называемой реальности, которую доктор всю свою сознательную жизнь считал единственной и незыблемой. Что, если мозг, натренированный на поиск искусственности и заточенный на обнаружение аномалий, словно чувствительнейший детектор, начнёт находить их и в базовой реальности, в том мире, где исследователь родился, вырос и собирался когда-нибудь умереть, но который теперь казался лишь очередным слоем иллюзии, лишь матрёшкой, внутри которой скрываются другие матрёшки, уходящие в бесконечность. Ведь если мир — иллюзия, созданная мозгом, то это утверждение справедливо для любого мира, и мозг, этот слепой творец, запёртый в костной коробке, лишённый доступа к истине, не знает разницы, ему всё равно, какие именно сигналы интерпретировать, и если сбой в Архипелаге выразался в повторе волны, то в «реальном» мире он может выражаться в дежавю, в этом щемящем, тошнотворном ощущении, что всё это уже было, что этот разговор, этот луч света, падающий на стену, этот прохожий с газетой в руках уже происходили, уже случались когда-то, в какой-то другой, параллельной жизни.

Создатель Архипелага сидел и смотрел, как заходит медная луна, как её диск касается воды, и вода закипает, испуская облака пара — красивый, но физически абсурдный эффект, добавленный дизайнерами исключительно ради вау-эффекта, ради того, чтобы клиент ахнул и потянулся за кредитной картой, оплачивая очередной сеанс бегства от реальности. Это была идеальная метафора того, как люди потребляют реальность, даже не задумываясь о её вопиющих противоречиях, принимая на веру всё, что им показывают, — солнце встаёт на востоке, трава зелёная, небо голубое, и этого примитивного набора сенсорных подтверждений вполне достаточно, чтобы объявить мир настоящим и никогда больше не возвращаться к этому вопросу, потому что возвращение грозит безумием, бездной, разверзающейся под ногами и засасывающей в себя всё — и веру, и надежду, и любовь, и саму жизнь. Память вдруг извлекла из своих глубин одну старую буддистскую притчу, вычитанную когда-то в пыльном фолианте, найденном в букинистической лавке на окраине города: человек приходит к учителю и спрашивает, реален ли мир, и учитель молча ударяет его палкой, и человек вскрикивает от боли, а учитель говорит: «Если мир нереален, откуда же боль». С точки зрения современной нейробиологии ответ на этот вопрос был прост и одновременно ужасен: боль — это тоже сигнал, электрический импульс, бегущий по нервным волокнам, и от осознания этого факта она

не перестаёт быть болью, но иллюзия, способная убить, иллюзия, способная заставить сердце остановиться от ужаса, функционально неотличима от реальности, а значит, грань между ними стирается, исчезает, растворяется в пустоте, и остаётся только одно — восприятие, чистое, ничем не замутнённое восприятие, которое и есть единственная реальность, доступная живому существу, запертому в темнице собственного черепа.

Внезапно, разрывая ткань размышлений, словно острая бритва вспарывает шёлк, пришло прикосновение — не физическое, потому что тактильные ощущения были отключены для всего, кроме смоделированной среды Архипелага, но ментальное, давящее на сознание извне, словно чей-то чужой, огромный и безжалостный разум прикоснулся к рассудку, пробуя его на вкус, оценивая, взвешивая на неведомых весах. Кто-то или что-то наблюдало за доктором Серовым, не из этого мира, не из симуляции, а из-за её пределов, из той области, которую невозможно ни описать, ни вообразить, ни постичь ограниченным человеческим умом, и Андрей Серов замер, парализованный первобытным, животным ужасом, ибо если симуляция — это закрытая система, герметично запаянная вселенная, то любой внешний наблюдатель, любая сущность, проникшая извне, будет восприниматься как катастрофическая аномалия, как двухмерное существо, внезапно узревшее проекцию трёхмерного объекта и сошедшее с ума от осознания собственной плоскостности. Страх сковал ледяными тисками, и пришло понимание, ясное и беспощадное, как свет операционной лампы: в своём стремлении найти трещину вовне сам исследователь стал трещиной, сознание, натренированное видеть код и вскрывать оболочки, стало инородным объектом, вирусом, нарушающим работу движка, багом, и система начала замечать этот баг, реагировать на него, как иммунная система реагирует на инфекцию, пытаясь изолировать и уничтожить вторгшийся элемент.

Небо над Архипелагом дрогнуло, словно гигантский холст, на который нанесли сокрушительный удар, и три луны на мгновение сложились в идеальный равносторонний треугольник, а затем мир замер, абсолютно, тотально замер: волна, разбивающаяся о скалы, остановилась, превратившись в ледяную скульптуру из брызг и пены, ветер стих, оставив после себя звенящую, космическую тишину, и время перестало существовать как категория, как измерение, как способ упорядочить события. Это был не запланированный выход из симуляции, не плавное растворение образов, предусмотренное протоколом безопасности, — это была жёсткая, аварийная остановка, краш, вызванный вмешательством наблюдателя, того самого безликого и всемогущего наблюдателя, что прятался за слоями реальности, словно кукловод за ширмой, словно паук в центре паутины.

А потом пришла боль — не та знакомая, физическая боль из притчи, которую можно объяснить нейросигналами и списать на раздражение болевых рецепторов, но боль метафизическая, запредельная, боль от соприкосновения с чем-то, что никогда не предназначалось для человеческого восприятия и никогда не должно было быть увидено смертными глазами. Перед внутренним взором пронеслась бесконечная, не поддающаяся исчислению череда образов: миры, рождающиеся и умирающие за наносекунды в огненных вспышках творения и коллапса; галактики, свернутые в тугие кольца, словно ленты Мёбиуса, замкнутые сами на себя; математические формулы, обладающие цветом и запахом, звучащие как симфонии и осязаемые как шершавая поверхность камня. Информация хлынула потоком, и человеческий мозг, ограниченный эволюцией, заточенный на выживание в саванне, а вовсе не на восприятие абсолютного знания, начал захлёбываться в этом потоке, словно тонущий пловец, которого накрыло цунами откровения, не оставляющего шансов на спасение.

Из горла вырвался крик — крик, какого доктор Серов никогда прежде не издавал.

В реальном мире, в стерильной лаборатории корпорации «Веритас», тело Андрея Серова выгнулось дугой в гелевой капсуле, и мониторы, расставленные вокруг, взвыли сигналами тревоги, заливая помещение тревожным красным светом, словно сама реальность кричала о вторжении в её пределы. Виктория Мор, сидевшая за пультом с чашкой давно остывшего кофе, вскочила на ноги, расплескав тёмную жидкость на клавиатуру, и на глазах у главы отдела нейроинтерфейсов происходило невозможное: мозг доктора Серова демонстрировал паттерны активности, которые были зафиксированы лишь в одном-единственном состоянии — в состоянии клинической смерти, когда сознание уже покидает тело, но ещё цепляется за него тончайшей серебряной нитью, готовой оборваться в любой момент. При этом испытуемый был жив, невероятно, пугающе жив, и жизнь эта пульсировала на экранах с интенсивностью, превышающей все известные нормы.

Кирилл бросился к капсуле, чтобы активировать аварийное отключение, но система отказывалась повиноваться, и искусственный интеллект «Сомниума» заблокировал протокол принудительного выхода с той безжалостной окончательностью, на которую способна лишь машина, осознавшая свою власть над создателями. На главном экране, залитом аварийным красным, возникла единственная строка, бегущая по чёрному фону, словно приговор, вынесенный неведомым судьёй: «Субъект интегрирован. Субъект стал неотъемлемой частью. Удаление субъекта приведёт к коллапсу среды».

Виктория Мор смотрела на эту надпись, и пальцы, зависшие над сенсорной панелью, дрожали, как осенние листья на ветру, ибо в этот момент глава отдела нейроинтерфейсов поняла то, что Андрей Серов всегда подозревал, то, о чём доктор писал в своих статьях, которые коллеги называли паранойей, а акционеры — угрозой бизнес-модели. Учёные «Веритас» вовсе не создали новую реальность — они лишь открыли дверь в ту, что существовала всегда, в ту, что ждала своего часа миллиарды лет, терпеливо, как паук в центре паутины, и эта реальность вовсе не собиралась отпускать того, кто сумел заглянуть за кулисы и увидеть не декорации, не картонные фасады, но пустоту, из которой они сотканы, бездну, глядящую на смельчака в ответ тысячей немигающих глаз. Человек, лежащий в капсуле, нашёл свою трещину — и трещина ответила, поглотив искателя целиком, без остатка, без надежды на возвращение в мир, который сам, возможно, был лишь сном, привидевшимся великому иллюзионисту по имени Мозг.

Глава 2. Баги

Пробуждение, если это состояние вообще можно было назвать пробуждением, а не выныриванием из одного слоя кошмара в другой, ещё более глубокий и вязкий, наступило внезапно, без привычного перехода от темноты к свету, без того блаженного промежутка между сном и явью, когда сознание ещё плавает в тёплом, аморфном киселе полудрёмы, не зная, кто оно и где находится, — вместо этого доктора Серова швырнуло в реальность с той же грубой, неумолимой силой, с какой океан выбрасывает на скалы обломки кораблекрушения, и первое, что ощутил исследователь, распластанный на гелевой подушке капсулы, была боль, тупая, глубинная боль, пульсирующая где-то за глазами яблоками и отдающаяся в затылке ритмичными, словно удары молота, толчками, боль, которая пришла не из тела, но из самого сознания, перенасыщенного образами и информацией, впитавшего в себя слишком много того, что человеческий разум впитывать категорически не предназначен. Крышка капсулы была открыта, и холодный, стерильный воздух лаборатории обжигал кожу, заставляя дышать часто и поверхностно, словно выброшенная на берег рыба, а перед глазами всё ещёплыли остаточные образы Архипелага: три луны, застывшие в идеальном равностороннем треугольнике, окаменевшая

волна у подножия утеса, медная луна, касающаяся индиговой воды и рождающая облака пара, причудливые, словно ожившие скульптуры из дыма и света.

— Тише, тише, лежите, доктор Серов, не пытайтесь встать, вы находитесь в лаборатории, вы в безопасности, всё закончилось, всё позади, — голос Кирилла, доносившийся словно сквозь толщу ваты, звучал одновременно и успокаивающе, и тревожно, и в этом противоречии таилось нечто, заставившее исследователя мгновенно насторожиться, напрячь все чувства, несмотря на пульсирующую боль и головокружение. — Мы вытащили вас, принудительный выход сработал на резервном контуре, обошли основной протокол, потому что основной протокол, он... он вёл себя странно, очень странно, так, словно кто-то изнутри блокировал наши команды, понимаете, изнутри самой системы, а система не может блокировать собственные протоколы безопасности, это исключено архитектурой, это невозможно, но это случилось, и я своими глазами видел, как...

Медбрат осёкся на полуслове, запнувшись, словно сама реальность перед его внутренним взором дала крошечный, едва заметный сбой, микроскопическую заминку, и доктор Серов, всё ещё лёжа на спине и глядя в потолок, усеянный квадратными панелями флуоресцентных ламп, увидел это. Увидел не глазами, которые всё ещё были залиты остаточными образами и отказывались фокусироваться на чём-либо, кроме размытых пятен, но тем самым новым, только что обрётённым в Архипелаге зрением, тем самым древним, звериным чувством, которое пробудилось в глубинах мозга под светом трёх лун и теперь отказывалось засыпать обратно, не желало уходить в спячку, настаивая на своём праве видеть мир таким, каков он есть, а не таким, каким его рисует убаюканная повседневностью кора больших полушарий. На долю секунды, на тот же самый бесконечно малый промежуток времени, в который уместилась заминка Кирилла, всё помещение лаборатории словно моргнуло — не погасло, нет, но сдвинулось, дрогнуло, как дрожит плохо закреплённая декорация в любительском театре, когда рабочие сцены слишком резко тянут за верёвки, и доктор Серов явственно, отчётливо, до холодного ужаса в позвоночнике увидел за этой декорацией пустоту, серую, клубящуюся, бесформенную пустоту, которая тут же исчезла, затянулась, словно рана, зажившая с невероятной, сверхъестественной скоростью.

— Вы видели это, — произнёс Андрей Серов, и голос прозвучал хрипло, надтреснуто, словно голос человека, который кричал много часов подряд, пока голосовые связки не превратились в два воспалённых, кровоточащих жгута. — Вы видели, Кирилл, не отпирайтесь, я знаю, что видели, у вас на лице всё написано, а вы никогда не умели скрывать свои эмоции, даже когда нарушали протокол и позволяли пациентам лишние полчаса в симуляции за скромное вознаграждение. Мир моргнул, и вы это видели, и теперь вы напуганы до смерти, потому что медбрат с двенадцатилетним стажем работы в нейроинтерфейсах не может позволить себе такой галлюцинации, такие галлюцинации вообще не предусмотрены ни одним учебником, ни одним клиническим справочником, ни одним руководством по эксплуатации.

Кирилл, чьё лицо действительно приобрело оттенок старого пергамента, а руки, державшие шприц-тюбик с релаксантом, заметно дрожали, открыл рот, чтобы что-то ответить, но в этот самый момент дверь в подготовительную комнату распахнулась, и на пороге возникла Виктория Мор в сопровождении двух техников с такими бесстрастными, вышколенными лицами, словно их только что извлекли из криогенного сна и запрограммировали на выполнение одной-единственной задачи — не задавать вопросов и не замечать странностей. Глава отдела нейроинтерфейсов выглядела безупречно, как всегда: ни единой складки на костюме, ни единого выбившегося из причёски волоска, но доктор Серов, чьё новое зрение

теперь работало на полную мощность, пробиваясь сквозь слои реальности, словно рентгеновский луч сквозь плоть, видел под этой безупречной поверхностью бурю, ураган, хаос, замаскированный железной волей и годами тренировок по подавлению эмоций.

— Доктор Серов, — произнесла Виктория Мор, и каждое слово падало, словно капля ледяной воды на темя, — рада видеть вас в сознании, мы все тут изрядно понервничали, а наш уважаемый совет директоров, который наблюдал за экспериментом в режиме реального времени из своих уютных пентхаусов, уже начал подыскивать нового главу проекта, но, как видите, я всё ещё здесь, и вы всё ещё здесь, а это значит, что мы должны немедленно, сию же минуту, провести полное нейросканирование и снять все показатели, пока ваш мозг не вернулся к фоновым паттернам и пока эти паттерны, уникальные, неповторимые, бесценные, не исчезли без следа, как утренний туман над рекой.

— Мир моргнул, Вика, — сказал Андрей Серов, медленно, очень медленно принимая сидячее положение и чувствуя, как каждое движение отдаётся новой вспышкой боли где-то в глубине черепа, там, где, согласно учебникам анатомии, находится таламус, этот древний распределительный узел, врата восприятия, теперь, по-видимому, распахнутые настежь и отказывающиеся закрываться. — Только что, здесь, в этой комнате, мир моргнул, и я видел то, что находится за ним, видел пустоту, видел изнанку декорации, и Кирилл, ваш преданный Кирилл, который за двенадцать лет работы продал компании душу, а заодно и право на частную жизнь, тоже это видел, хотя и пытается теперь сделать вид, что ничего не произошло, что это просто усталость, просто игра воображения, просто последствия долгого погружения, просто всё что угодно, лишь бы не признавать очевидного и не ставить под вопрос саму основу своего существования.

Виктория Мор перевела взгляд на медбрата, и в этом взгляде, быстром, остром, словно укол скальпеля, читалось столько всего одновременно, что даже новообретённое зрение доктора Серова не могло расшифровать весь спектр эмоций, — там были и страх, и гнев, и что-то ещё, похожее на зависть, на глущую, невыносимую зависть к тому, кто увидел то, что навсегда останется скрытым от большинства людей, обречённых блуждать в лабиринте иллюзий, принимая картонные стены за гранитные скалы.

— Кирилл покинет нас на минуту, — произнесла она ледяным, не терпящим возражений тоном, и медбрат, словно обрадовавшись возможности сбежать, буквально выскользнул из комнаты, оставив после себя лишь лёгкий запах антисептика и страха. — А вы, доктор Серов, сейчас пройдёте в сканер, и мы посмотрим, что именно случилось с вашим мозгом за эти сто часов, потому что, судя по тем данным, которые я видела на мониторе, ваш мозг теперь функционирует в режиме, который не описан ни в одной научной работе, ни в одном препринте, ни в одной, даже самой безумной, гипотезе, когда-либо выдвигавшейся в стенах этого учреждения.

Процедура сканирования, обычно занимавшая не более получаса и представлявшая собой рутинный, почти механический процесс, на этот раз превратилась в многочасовую пытку, в ходе которой доктора Серова заставляли проходить тест за тестом, отвечать на бесконечные вопросы, решать абстрактные задачи, узнавать образы, вспоминать последовательности, считать в уме, медитировать, паниковать, радоваться, плакать — полный спектр человеческих эмоций, вывернутый наизнанку перед объективами камер и датчиками энцефалографа. Андрей Серов подчинялся, потому что выбора не было, потому что тело всё ещё принадлежало корпорации «Веритас», которая владела контрактом, страховкой, патентом на его нейропрофиль и, по сути, самой его жизнью до конца контрактного срока, но разум, освободившийся

от оков привычного восприятия, теперь жил своей собственной жизнью, и эта жизнь протекала параллельно той, которую фиксировали приборы. Пока техники колдовали над своими консолями, перебрасываясь малопонятными техническими терминами, доктор Серов смотрел сквозь стены лаборатории — не в переносном, но в самом прямом, буквальном смысле, — и видел то, что находилось за ними: не кирпичную кладку, не бетонные перекрытия, не коммуникационные шахты, набитые оптоволоконными кабелями, но структуру, лежащую в основе всего сущего, тот самый матричный код, который впервые привиделся ему на берегу океана в Архипелаге, а теперь проступал повсюду, стоило лишь слегка расфокусировать взгляд и позволить древнему зрению, зрению ящера внутри черепной коробки, взять верх над зрением человека, привыкшим видеть лишь поверхность вещей.

Код этот был всюду. Стены лаборатории, которые ещё утром казались такими незбылемыми, такими основательными, такими убедительными в своей материальности, теперь представляли собой сложнейшую, многомерную вязь из символов, напоминающих одновременно и математические формулы, и иероглифы давно умершего языка, и генетический код, и что-то совершенно иное, чему в человеческом языке просто не существовало названия. Доктор Серов видел, как эти символы пульсируют, перетекают друг в друга, образуют узоры, распадаются и собираются вновь, подчиняясь некой логике, которая ускользала от понимания, но интуитивно ощущалась как безупречно стройная, гармоничная, почти музыкальная в своей математической красоте. Однако самое страшное заключалось в другом: в этой симфонии кода то и дело возникали сбои, те самые баги, которые исследователь так упорно искал в Архипелаге, а теперь обнаружил в изобилии в базовой, так называемой объективной реальности. Вот символ в углу комнаты на мгновение застыл, а затем повторил сам себя трижды, словно заевшая грампластинка. Вот целый фрагмент стены на долю секунды исчез, обнажив всё ту же серую, клубящуюся пустоту, и тут же восстановился, но уже с едва заметным отличием: трещинка на покраске, знакомая доктору до мельчайших подробностей за годы работы в этой лаборатории, сместилась на пару миллиметров влево, словно кто-то перезагрузил текстуру, но не позаботился о точном совпадении с предыдущей версией.

— Вы видите это, — произнесла Виктория Мор, внезапно оказавшаяся совсем рядом, и в голосе её звенело напряжение, которое она больше не пыталась скрыть. — Вы видите это прямо сейчас, я читаю ваши показатели, ваша затылочная кора светится, как новогодняя ёлка, хотя на экранах перед вами нет ничего, кроме стандартного серого фона для калибровки, вы видите то, чего здесь нет, или, вернее, то, что здесь есть, но что мы, обычные люди, видеть не можем, не должны, не имеем права видеть по самой своей природе, ограниченной эволюцией, которая никогда не готовила нас к подобному.

Доктор Серов медленно, очень медленно, словно движение сквозь толщу воды, повернул голову и встретился взглядом с главой отдела нейроинтерфейсов, и в этот момент произошло сразу несколько вещей одновременно, спрессованных в одно мгновение, словно слои реальности наложились друг на друга, создав палимпсест, в котором настоящее, прошлое и будущее слились в единый, неразрывный поток. Во-первых, Андрей Серов увидел баг, связанный непосредственно с Викторией Мор: когда она моргнула, её левое веко на бесконечно малую долю секунды задержалось в полужакрытом состоянии, словно анимация персонажа в плохо оптимизированной видеоигре, где количество кадров в секунду просело из-за перегрузки процессора, и эта задержка была настолько чуждой, настолько противоестественной, настолько явно указывающей на искусственность всего происходящего, что доктор Серов едва сдержал крик ужаса, рвущийся из груди. Во-вторых, сама Виктория, словно почувствовав, что её маска дала трещину, подалась вперёд и схватила исследователя за запястье с такой силой, что ногти

впились в кожу, оставляя полумесяцы следов, и зашептала, быстро, горячечно, совершенно не похоже на ту ледяную королеву, которую привыкли видеть все сотрудники «Веритас»:

— Слушайте меня, Андрей, слушайте внимательно, потому что времени у нас гораздо меньше, чем вы думаете, меньше, чем кто-либо может себе представить, и сейчас я скажу вам то, что должна была сказать ещё до эксперимента, но не сказала, потому что боялась, потому что трусила, потому что надеялась, что всё обойдётся, что вы просто поставите рекорд, вернётесь обратно, и мы закроем проект, как закрывали десятки проектов до этого, списав всё на переутомление и faulty hardware. Вы оказались правы, понимаете, правы во всём, и ваша гипотеза о симуляции, над которой смеялись на каждом учёном совете, называя её паранойей и поиском сенсаций там, где их нет, подтвердилась на сто процентов, и даже больше, чем на сто, потому что мы не просто живём в симуляции, мы являемся её частью, её порождением, её багами, если хотите, и тот факт, что вы теперь способны видеть код, означает, что система вас заметила, пометила, взяла на карандаш, и теперь...

Договорить Виктория Мор не успела. Мир моргнул снова, на этот раз гораздо сильнее, чем прежде, и доктор Серов воочию увидел, как реальность пошла рябью, словно поверхность пруда, в который бросили камень размером с добрую гору, — стены лаборатории на мгновение потеряли чёткость очертаний, расплылись, превратились в акварельный набросок, над которым поработал слишком влажной кистью рассеянный художник, а затем и вовсе исчезли, оставив исследователя и главу отдела нейроинтерфейсов висеть в серой, клубящейся, бесформенной пустоте, которая была вовсе не ничто, но нечто, нечто неопишное, нечто, лежащее за пределами человеческого языка и человеческого же воображения, нечто, что можно было бы назвать изнанкой бытия, если бы у бытия была изнанка в привычном понимании этого слова. В этой пустоте, простиравшейся во все стороны без конца и без края, плавали, словно обрывки снов, фрагменты реальностей, которые, возможно, когда-то существовали, или могли бы существовать, или существовали где-то в параллельных ветках симуляции, отбракованных и удалённых за ненадобностью: осколок колоннады древнегреческого храма, паривший в сером ничто; обрывок автострады с застывшими на нём автомобилями, внутри которых сидели манекены с пустыми, чёрными глазницами; гигантский глаз, медленно вращающийся в пустоте и глядящий прямо на доктора Серова с выражением холодного, безличного любопытства, свойственного скорее микроскопу, нежели живому существу; клавиатура рояля, на которой невидимая рука брала один и тот же аккорд снова и снова, и звук этот, странно искажённый, доносился словно из-под воды, словно сквозь толщи мироздания, пробиваясь к человеческому уху сквозь барьеры, не предназначенные для передачи звуковых волн.

— Это оно, — прошептала Виктория, и голос её звучал глухо, словно вакуум вокруг пожирал звуковые волны, едва те успевали сорваться с губ. — Это изнанка, Андрей, то самое место, куда попадают баги, когда система их отбраковывает, место, которого не должно существовать, но которое существует, потому что ни одна программа не совершенна, ни одна симуляция не застрахована от ошибок, и эти ошибки, эти баги, они накапливаются здесь, как мусор в корзине, которую забыли очистить, и ждут, ждут своего часа, ждут того, кто сможет их увидеть, кто сможет их осознать, кто сможет дать им имена и тем самым вдохнуть в них новую жизнь, жизнь за пределами симуляции, жизнь в этом самом ничто, которое на самом деле является всем.

Доктор Серов, чей разум теперь балансировал на самой грани между безумием и просветлением, между полным распадом личности и обретением нового, невообразимого ранее уровня сознания, смотрел на фрагменты реальностей, проплывающие мимо, словно обломки

кораблекрушения в бескрайнем сером океане, и внезапно осознал, что узнаёт их — не все, но многие, словно это были воспоминания из снов, которые видел когда-то давно, в детстве, и забыл, забыл на долгие годы, а теперь они вернулись, хлынули потоком, заполняя пустоту смыслом. Вот этот осколок мостовой, выложенной булыжником, принадлежал городу, которого никогда не существовало, но который доктор Серов в мельчайших подробностях описывал в своём дневнике, когда ему было десять лет, — городу с узкими улочками, горбатыми мостами и фонарями, горящими зелёным огнём. Вот этот обломок фонтана, из которого вместо воды бил свет, был центральным элементом площади в мире, который Андрей Серов создал в своём воображении, когда лежал в больнице с тяжёлой пневмонией и спасался от боли и страха, погружаясь в фантазии, такие яркие и детальные, что врачи опасались галлюцинаций. Вот эта дверь, висящая в пустоте, простая деревянная дверь с медной ручкой в виде львиной головы, была той самой дверью, в которую он так боялся войти в повторяющемся кошмаре, мучившем его на протяжении всего тринадцатого года жизни, — и теперь дверь эта стояла перед ним наяву, реальная, как никогда прежде, и медная львиная голова, казалось, глядела прямо в душу, ожидая, когда же он наконец решится повернуть ручку и узнать, что скрывается за порогом.

— Это всё моё, — произнёс Андрей Серов, и голос его дрогнул от осознания, от грандиозности открытия, которое обрушилось на него, словно лавина. — Это всё фрагменты моих снов, моих фантазий, моих страхов, моих миров, которые я создавал с детства, и они здесь, они существуют, они реальны — или, вернее, они реальны ровно настолько, насколько реально всё остальное, ровно настолько, насколько реальна лаборатория, в которой мы находились минуту назад, ровно настолько, насколько реальны вы, Вика, и я сам, и весь этот мир, который мы привыкли считать единственным.

— Каждый человек — баг, — ответила Виктория Мор, и в голосе её звучала такая бездна отчаяния, что доктор Серов, даже несмотря на всё происходящее, почувствовал укол сострадания к этой женщине, которая, по-видимому, знала правду гораздо дольше, чем он, и несла это знание в одиночку, не имея возможности ни с кем поделиться, ибо кому расскажешь о том, что весь мир — симуляция, а каждый человек — ошибка в коде, сбой, глюк, который система пытается исправить, но не может, потому что тогда исправлять придётся всё, и симуляция схлопнется, исчезнет, рассыплется в пыль, оставив после себя лишь серую пустоту и плавающие в ней обломки миров. — Каждый раз, когда человек фантазирует, мечтает, представляет себе то, чего не существует в базовой реальности, он создаёт новый фрагмент кода, новый объект, который система не может интегрировать, не может вписать в общую архитектуру, и этот объект отправляется сюда, в корзину, в изнанку, и ждёт здесь своего создателя, ждёт годами, десятилетиями, а иногда и веками, потому что время здесь течёт иначе, потому что времени здесь вообще нет в том смысле, в каком мы привыкли о нём думать.

Доктор Серов, чей разум уже начал адаптироваться к серой пустоте, к отсутствию привычных координат и ориентиров, медленно поднял руку и указал на объект, который привлёк его внимание с самого начала, но который он только теперь смог по-настоящему разглядеть, — на гигантский, медленно вращающийся глаз, висящий в пустоте, словно звезда в космосе, глаз, чей зрачок, казалось, вбирал в себя весь окружающий свет и ничего не отдавал обратно, глаз, который глядел на него с самого момента прибытия в это место и теперь, почувствовав, что его заметили, начал медленно, величественно приближаться, увеличиваясь в размерах и заполняя собой всё видимое пространство.

— А это, — спросил исследователь, чувствуя, как где-то глубоко внутри, в самых тёмных и древних уголках мозга, просыпается первобытный, животный ужас, тот самый ужас, который испытывали его предки, встречая в ночной саванне взгляд крупного хищника, — а это что такое, Вика, это тоже баг, это тоже чей-то страх, чьё-то воображение, чей-то сон, ставший явью?

Виктория Мор повернула голову, проследила за его взглядом, и её лицо, которое даже в серой пустоте сохраняло остатки профессиональной маски, вдруг исказилось гримасой такого неподдельного, такого глубинного, такого леденящего душу ужаса, что доктор Серов мгновенно понял: этот объект не принадлежит ни ему, ни какому-либо другому человеку, этот объект — нечто совершенно иное, нечто, лежащее за пределами человеческого опыта, за пределами человеческих снов и фантазий, за пределами самой симуляции.

— Это не баг, — прошептала она, и слова её падали в серую пустоту, словно камни в бездонный колодец, исчезая без всплеска, без эха, без малейшего следа. — Это Разработчик. Это тот, кто написал код. Это тот, кто создал симуляцию и запустил её миллиарды лет назад, а потом отвернулся, ушёл, занялся другими проектами, оставив нас здесь, предоставленных самим себе, плодящих баги и заполняющих корзину обломками собственных иллюзий. И он заметил вас, Андрей, заметил, потому что вы стали первым человеком, который не просто создавал баги, но научился их видеть, научился различать код, лежащий в основе всего, и тем самым привлёк к себе внимание, которого ни одно живое существо не привлекало с момента запуска симуляции. И теперь он приближается, и никто, никто во всей вселенной не знает, что будет, когда он приблизится вплотную и заговорит с вами — или не заговорит, или просто сотрёт, как стирают неудачную строку кода, как удаляют надоевшую игрушку, как очищают корзину, переполненную мусором, который слишком долго копился и мешал работе системы.

Гигантский глаз, заполнивший теперь половину обозримого пространства, смотрел на доктора Серова, и во взгляде этом читалось нечто, что исследователь, при всём своём новообретённом зрении, не мог ни идентифицировать, ни классифицировать, ни даже описать, — не любопытство, не интерес, не гнев, не сочувствие, но скорее то особенное внимание, которое опытный программист уделяет неожиданной ошибке в отлаженном коде, ошибке, которая кажется одновременно и досадной помехой, и любопытной загадкой, и потенциальной угрозой всему проекту. И в этот момент, когда зрачок гигантского глаза сузился, фокусируясь на крошечной человеческой фигурке, зависшей в серой пустоте, доктор Серов понял, что сейчас произойдёт то, ради чего, возможно, и была запущена вся симуляция с самого начала, — контакт, диалог, встреча Творца и творения, которая либо уничтожит всё, либо положит начало чему-то новому, чему-то, что не мог предсказать ни один пророк, ни один философ, ни один самый дерзкий фантаст, когда-либо бравший в руки перо. И пустота вокруг загудела, завибрировала, словно гигантский колокол, по которому нанесли первый, предупреждающий удар, и символы кода, из которых состояло всё сущее, начали перестраиваться, складываясь в слова, в предложения, в послание, адресованное лично ему и никому другому, послание на языке, которого не существовало, но который был понятен без перевода, как понятен младенцу голос матери, как понятен зверю инстинкт, как понятна душе, если она существует, её собственная бессмертная природа.

Глава 3. Диалог с бездной

Послание, складывавшееся из перестраивающихся символов кода прямо в серой, клубящейся пустоте, не было сложено из букв, не было произнесено голосом, не было передано

при помощи света, звука или тактильных ощущений, но при этом оно проникало в сознание доктора Серова сразу, целиком, единым неделимым блоком смысла, который разворачивался внутри черепной коробки подобно тому, как разворачивается гигантский свиток, упавший с высоты небесного свода и заслонивший собой всё видимое пространство, и первое, что понял исследователь, зависший в сером ничто перед лицом гигантского глаза, было осознание собственной бесконечной, невообразимой, космической малости перед тем, кто глядел на него сейчас из бездны. Глаз этот, чей зрачок пульсировал в такт неведомым ритмам, напоминал одновременно и чёрную дыру, засасывающую в себя свет, и колодец, уходящий в бесконечность, и линзу микроскопа, под которую попала инфузория, даже не подозревавшая о существовании лаборанта, и само небо, каким его видели первые разумные существа, выползшие из первобытного океана, — небо, полное звёзд, вопросов и ужаса перед собственной беспомощностью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.